

# Глава XVII

Вооружённая десятком тщательно подготовленных лекций и образцом изобретения Эда и его коллеги, я отправилась в путь, полная надежды привлечь больше людей к нашему Делу и собрать заказы на новый альбом. Моя доля от продаж должна была помочь мне оплатить расходы на переезды, освободив от неприятной необходимости брать деньги товарищей.

Чарльз Шиллинг, анархист из Филадельфии, с которым я познакомилась во время предыдущих визитов в этот город, взял на себя организацию моих лекций, а также пригласил меня остановиться у него в доме. Они с миссис Шиллинг были очаровательными хозяевами, а Чарльз к тому же и очень хорошим организатором. Я выступала на шести огромных митингах с лекциями «Новая женщина», «Абсурдность непротивления злу», «Основы нравственности, свободы, доброты» и «Патриотизм». Давать лекции на английском было довольно сложно, но я сразу же чувствовала себя как рыба в воде, как только начинались вопросы. Чем большее сопротивление я встречала, тем увереннее становилась в своей позиции и язвительнее с оппонентами. Через десять дней напряжённой работы и тёплого общения с Шиллингами и другими новыми друзьями я уехала в Питтсбург.

Карл, Генри, Гарри Гордон и Эмма Ли организовали четырнадцать лекций в Стальном Городе и ближайших городах, кроме одного, в который мне хотелось попасть больше всего, — Хоумстеда. Там было невозможно зарезервировать зал. Первым местом моего паломничества была, как обычно, Западная тюрьма. Мы пошли туда с Эммой Ли. Мы шли у самой стены, и моя спутница заметила, что время от времени я провожу рукой по шершавой поверхности. Если бы мысли и чувства могли летать, то мои смогли бы проникнуть через серую стену и достигли бы Саши. Прошло почти пять лет с тех пор, как его арестовали. Начальник и смотрители делали всё возможное, чтобы сломить его, но они не знали о силе Сашиного сопротивления. Он не утратил присутствия духа, сосредоточившись на желании вернуться к жизни и свободе. В этом его поддерживали многие друзья, из которых особенно преданными были Гарри Келли, семья Гордонов, Нольд и Бауэр. Они месяцами работали над новым прошением о помиловании. Их деятельность, начатая в ноябре 1897 года, нашла отклик в разных кругах. С помощью Гарри Келли, который агитировал рабочие организации выступить в поддержку Саши, Объединённая рабочая лига западной Пенсильвании приняла резолюции в пользу его освобождения. Американская федерация труда на своём съезде в Цинциннати, Международный союз пекарей и многие другие рабочие организации по всем Соединённым Штатам стали активно принимать меры. Подключились два лучших питтсбургских адвоката — на них собирались необходимые средства. Саша и его дело находились в центре внимания многих, и наши друзья были уверены в успехе. Я была настроена скорее скептически, но сейчас, проходя вдоль тюремной стены, которая отделяла меня от нашего храброго мальчика, я безнадежно надеялась, что окажусь неправа.

Постоянные выступления и знакомства со множеством людей — напряжённая работа. Она довела меня до нескольких нервных срывов, из-за которых я чувствовала себя слабой и

опустошённой. Но я не могла расслабляться. Я сожалела о каждой минуте без дела особенно потому, что интерес народа к нашим идеям казался очень сильным. Некоторые газеты, вопреки обычаю, публиковали правдивые репортажи с моих митингов; Pittsburgh Leader даже выпустила статью на целую страницу, где в мой адрес звучали добрые слова. «Мисс Гольдман выглядит совсем не такой ужасной, как её малюют, — говорилось там среди всего прочего. — По внешнему виду не скажешь, что она носит бомбы под юбкой или способна на провокационные высказывания, которые так характерны для её ораторских выступлений. Наоборот, она производит скорее приятное впечатление. Когда она говорит, её глаза светятся интеллектом и энтузиазмом. Действительно, девяносто девять прохожих из ста, которых спросят, кем является выступающая, скажут, что она школьная учительница или женщина прогрессивных взглядов».

Автор, очевидно, считал, что делает комплимент, когда пишет, что я выгляжу, как школьная учительница. Несомненно, он не хотел сказать ничего плохого, но моё тщеславие тем не менее было задето. Я задавалась вопросом: неужели я на самом деле выгляжу так глупо?

В Кливленде я прочитала три лекции. В газетах появились весёлые репортажи. В одной просто говорилось, что «Эмма Гольдман — сумасшедшая», а «её доктрины — это дьявольские бредни». Другая писала о моих «прекрасных манерах, свойственных скорее леди, чем бомбометательнице».

В Детройт я приехала, как к старому близкому другу, и прямо с поезда пошла к Роберту Райцелю. Его состояние постоянно ухудшалось, но воля к жизни была неискоренима. Я застала своего рыцаря ещё более бледным и исхудалым, чем прежде. Страдания, через которые ему пришлось пройти с момента моего последнего приезда, отразились на его лице, но он не потерял свойственных ему остроумия и чувства юмора. Я одновременно и радовалась, и мучилась, находясь рядом с ним. Но скучать он мне не давал. Благодаря его великому таланту рассказчика я смеялась до упаду над комичными историями, которые он с жаром мне пересказывал. Особенно забавными были его воспоминания о том времени, когда он был пастором в немецкой кальвинистской общине, в первые годы после приезда в Америку. Однажды его попросили прочитать проповедь в Балтиморе. Вечер перед выступлением он провёл в компании друзей: они пели и веселились в обители бога вина до самого рассвета. На дворе стояла весна; птицы на деревьях радостно щебетали. Вся природа трепетала от витающего в воздухе сладострастия. Когда наступил новый день, Роберт пребывал в приподнятом настроении. Ещё через несколько часов его нашли катающимся верхом на пивной бочке, раздетым догола и громогласно распеваящим серенады своей даме сердца. Увы, она оказалась непорочной дочерью выдающегося члена общины, который и пригласил молодого пастора. В тот день в Балтиморе немецкой проповеди не было.

Часы, проведённые с моим рыцарем, были незабываемы. Свет его души увлёк меня, и я не хотела с ним расставаться. Жаль, что я не могла влить в его больное тело свои молодость и силу.

Цинциннати после Детройта казался скучным и неприятным. Впечатление усилилось вдвое из-за недовольного письма Эда. Он писал, что не может вынести моего долгого отсутствия,

что в тысячу раз лучше будет резко разорвать отношения, жить совсем без меня, чем видеться только урывками. В ответном письме я убеждала Эда в своей любви и желании быть дома рядом с ним, но отметила, что не буду жить на привязи или в клетке. При таких условиях мне придётся прекратить наши отношения. Больше всего я ценю свободу — свободу заниматься своей работой, отдаваться делу стихийно, а не по долгу или по команде. Я не смогу подчиниться таким требованиям и скорее выберу путь бездомной странницы, да, даже если придётся остаться без любви.

В Сент-Луисе было не менее тоскливо, но в последний день ситуацию спасла полиция. Они ворвались на митинг посреди моей речи и вытолкали всех наружу. Я утешила себя тем, что через газеты мои слова достигнут большей аудитории, чем мог вместить зал. Более того, действия властей добавили мне новых друзей из числа американцев, которые всё ещё верили в свободу слова.

Чикаго — Город Чёрной Пятницы, причина моего перерождения! После Питтсбурга для меня это был самый зловещий и угнетающий город. Но я больше не чувствовала себя такой одинокой, как в прежние времена, когда ярость от событий 1887 года была ещё очень сильна, а противостояние со стороны последователей Моста было слепым и ожесточённым. Моё заключение и последующая деятельность завоевали для меня новых друзей и повернули события прошлого мне на пользу. Сейчас меня поддерживали многие рабочие профсоюзы благодаря усилиям Пойкерта. С 1893 года он жил в Чикаго и занимался там пропагандистской деятельностью. Я наслаждалась радушием товарища Аппеля, выдающегося местного анархиста, который вместе со своей жизнерадостной женой и детьми сделали свой дом приятным для гостей. Группа Free Society проделала великолепную работу в Чикаго, они организовали мне серию из пятнадцати лекций.

Сами собрания были обычными, не происходило ничего выдающегося. Но некоторые события добавили значимости моему пребыванию в городе, оказав влияние на мою дальнейшую жизнь. Среди них было знакомство с Мозесом Гарманом<sup>96</sup> и Юджином Дебсом, кроме того, я заново открыла для себя Макса Багинского, молодого товарища из Германии.

В один из тех волнительных августовских дней 1893 года в Филадельфии, когда полиция охотилась за мной, я встретила с двумя молодыми мужчинами. Один из них был моим старым другом Джоном Касселем, другой оказался Максом Багинским. Я была особенно рада познакомиться с Максом — одним из молодых бунтарей, сыгравших важную роль в революционном движении Германии. Он был среднего роста, с одухотворённым лицом, но выглядел таким слабым, как будто только что оправился от долгой болезни. Его светлые волосы стояли дыбом, сколько бы он ни расчёсывался; умные глаза из-за толстых очков казались маленькими. Особенно выделялись его необычно высокий лоб и овал лица, такой же славянский, как и его фамилия. Я пробовала заговорить с ним, но он выглядел депрессивным и нерасположенным к общению. Мне стало интересно, не был ли причиной его смущения большой шрам на шее. В последующие годы я больше не виделась с Максом вплоть до моего освобождения из тюрьмы, потом же встречи были случайными. Позже я узнала, что он уехал в Чикаго и стал во главе Arbeiter Zeitung («Рабочая газета»), которую раньше издавал Август Шпис.

Во время своих предыдущих визитов в Чикаго я не хотела идти в офис газеты, чтобы увидеться с Багинским. Я слышала, что он был ярким сторонником Моста, а я уже так натерпелась от преследований его последователей, что не хотела встречаться ещё с одним. Появление доброжелательной заметки о моих лекциях в Arbeiter Zeitung и необъяснимое желание снова увидеть Макса заставили меня разыскать его по приезду в город.

Офис Arbeiter Zeitung, получившей известность после чикагских событий, находился на Кларк-стрит. Комната среднего размера была разделена решёткой, за которой я увидела человека, занятого работой. По шраму на шее я узнала Макса Багинского. Он быстро встал, услышав мой голос, открыл сетчатую дверь и с энергичным возгласом: «Ну, дорогая Эмма, наконец-то ты здесь!» — обнял меня. Это приветствие было таким неожиданно тёплым, что я сразу же отбросила свои опасения насчёт него как слепого последователя Моста. Он попросил подождать минуту, пока закончит последний абзац статьи, которую писал. «Готово! — спустя некоторое время весело воскликнул он. — Пошли из этой тюрьмы. Мы идём обедать в ресторан „Голубая лента“».

Было уже за полдень, когда мы дошли до этого места; в пять часов мы всё ещё были там. Тихий и подавленный молодой человек, запомнившийся мне в ту короткую встречу в Филадельфии, оказался на самом деле оживлённым и интересным собеседником, тогда чрезмерно серьёзный — сейчас он был беззаботным, как мальчишка. Мы говорили о движении, Мосте и Саши. Далеко не фанатичный и узколобый Макс проявлял более широкий кругозор, сочувствие и понимание, чем я видела даже среди лучших немецких анархистов. Он сказал, что сильно восторгается Мостом за героическую борьбу, которую тот ведёт, и за преследования, которые пережил. Тем не менее отношение Моста к Саше произвело неприятное впечатление на Макса и его коллег в группе Jungen («Парни») в Германии. Макс уверил меня, что они все были на стороне Саши, но с тех пор, как он переехал в Америку, стал лучше понимать трагедию Моста на чужой земле, где тот так и не смог прижиться. В Соединённых Штатах Мост был не в своей тарелке, он не чувствовал вдохновения и не получал отдачи от народа. Конечно, у Моста есть значительная поддержка со стороны немцев в этой стране, но фундаментальных изменений могут добиться только местные жители. Должно быть, именно его беспомощность в Америке и отсутствие местного анархического движения заставили Моста выступить против пропаганды действием и, соответственно, против Саши.

Я не могла принять это оправдание предательства Моста, предательства той идеи, которую он пропагандировал годами. Но искренняя попытка объективно проанализировать причины, которые вызвали изменения в позиции Моста, позволила мне лучше узнать Макса. В нём не было ничего низкого, ни следа мстительности или желания цензурировать события, ни крупницы предвзятости. Он поразил меня широтой своей натуры; быть с ним было словно дышать чистым воздухом на зелёном лугу.

Моё удовольствие от общения с Максом подкреплялось тем, что он разделял моё восхищение Ницше, Ибсеном и Гауптманом и знал многих других писателей, чьих имён я даже не слышала. Он лично был знаком с Герхартом Гауптманом и сопровождал его в поездках по районам Силезии, где жили ткачи<sup>97</sup>. Макс тогда был редактором рабочей газеты Der Proletarier aus dem Eulengebirge («Пролетарий из Совиных гор»), что издавалась в

местности, которая предоставила драматургу материал для двух сильных социальных сюжетов — «Ткача» и «Ганнеле». Ужасная нищета и разруха озлобила ткачей и сделала их подозрительными. Им не нравилось разговаривать с молодым, аскетичного вида, человеком, похожим на священника, который приехал спросить о том, как им живётся. Но они знали Макса. Он был выходцем из народа, одним из них, и ему доверяли.

Макс рассказал мне о некоторых впечатлениях от путешествий с Герхартом Гауптманом. Повсюду они натыкались на ужасную нищету. Однажды они зашли к одному ткачу в бедную лачугу. На лавке лежала женщина с младенцем, укрытая лохмотьями. Худое тельце малыша было покрыто болячками. В доме не было ни еды, ни дров. Беспросветная нужда сочилась из каждого угла. В другом месте жила вдова с тринадцатилетней внучкой, девочкой необычайной красоты. Они жили в одной комнате с ткачом и его женой. Всё время, пока они общались, Гауптман гладил ребёнка по голове. «Несомненно, это она вдохновила его написать „Ганнеле“, — отметил Макс. — Я знаю, как он был впечатлён этим нежным цветком, выросшим в столь мрачном окружении». Ещё долгое время Гауптман высылал девочке подарки. Он умел сочувствовать этим обездоленным, потому что знал по своему опыту, что такое бедность: ему часто приходилось голодать в свои студенческие годы в Цюрихе.

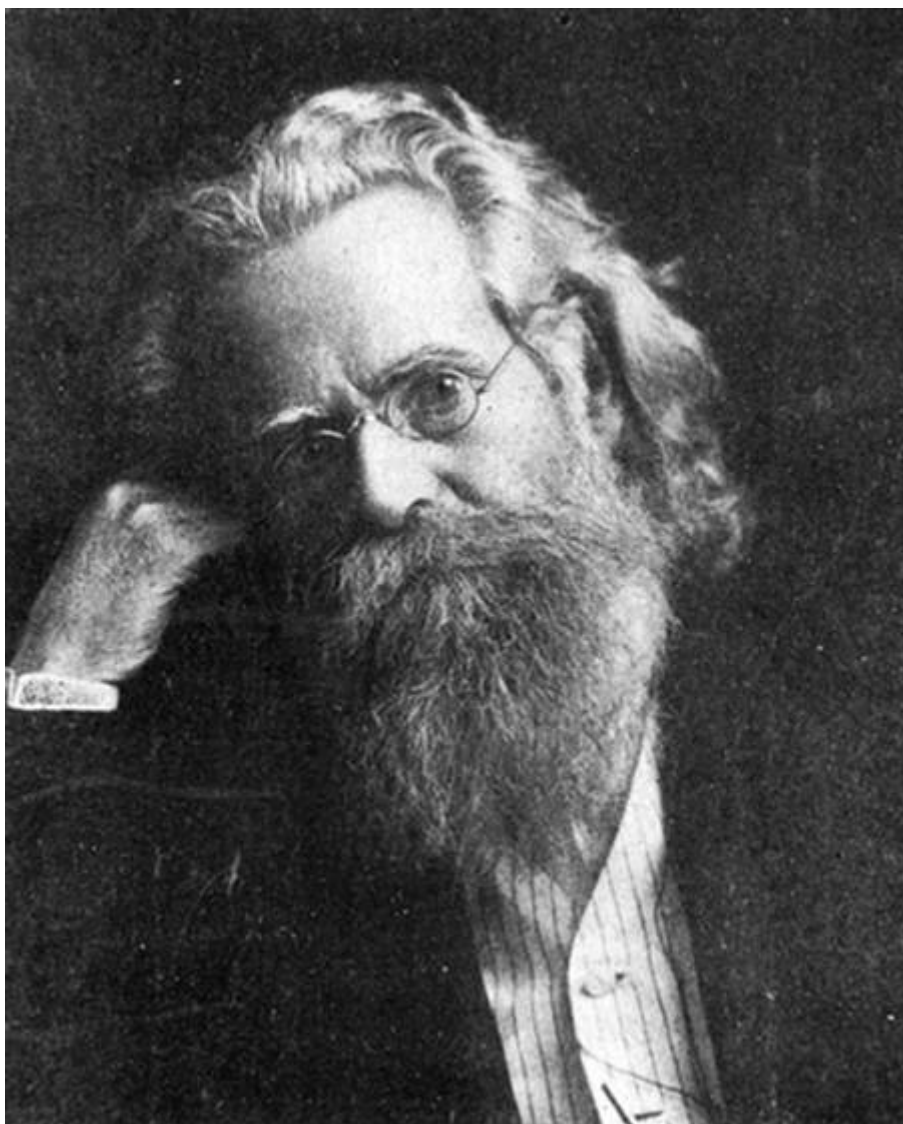


Нищета ткачей

Я чувствовала, что нашла в Максе родственную душу, он понимал и ценил всё, что так много для меня значило. Он покорила меня своим богатым умом и чувственностью. Наше интеллектуальное сходство было неожиданным и полным, находило оно и эмоциональное проявление. Мы стали неразлучны, каждый день я открывала всё новые стороны его

личности. Интеллектуально он был развит намного старше своих лет, а внутренний его мир был миром романтики, Макс был очень мягким и утончённым человеком.

Другим прекрасным событием во время пребывания в Чикаго было знакомство с Мозесом Гарманом, мужественным апологетом свободного материнства и женской экономической и сексуальной эмансипации. Впервые я услышала его имя, когда читала Lucifer («Люцифер») — еженедельную газету, которую он издавал. Я знала о преследованиях, которые он пережил, и о его заключении, спровоцированном обвинениями «моральных евнухов» Америки с Энтони Комстоком<sup>98</sup> во главе. В сопровождении Макса я встретила с Гарманом в офисе Lucifer, который служил также домом ему и его дочери Лилиан.



Мозес Гарман

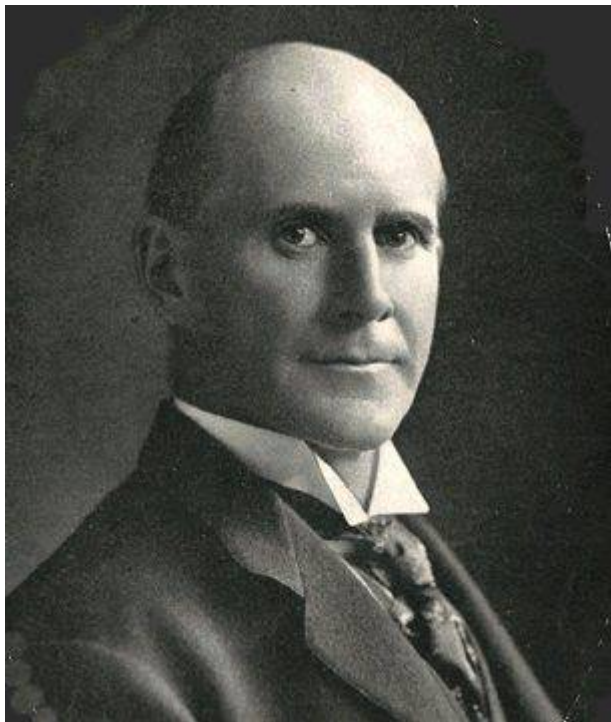
Нарисованный воображением образ великих личностей обычно оказывается ложным при близком контакте. С Гарманом всё было наоборот: я не в полной мере представляла себе очарование этого мужчины. Прямая осанка (несмотря на хромоту, которую он заработал из-за ранения во время Гражданской войны), струящиеся светлые волосы и красивая борода, искрящиеся молодостью глаза — всё это вместе придавало ему внушительности. В нём не было суровости или грозности; на самом деле он был по-настоящему добрым. Эта черта объясняла высшую веру в страну, которая нанесла ему столько ударов. Он уверил меня, что

я ему не чужая. Он был в ярости, узнав, как со мной обращались в полиции, и протестовал против этого. «Мы являемся товарищами во многих отношениях», — отметил он с приятной улыбкой. Мы провели вечер, обсуждая проблемы, касающиеся женщины и её эмансипации. Во время разговора я выразила сомнения по поводу того, изменится ли подход к сексу, такой непристойный и вульгарный в Америке, и будет ли пуританство искоренено в этой стране. Гарман был уверен, что это случится. «С тех пор, как я начал работать, я уже увидел такие значительные изменения, — сказал он, — что я уверен: мы недалеко от настоящей революции в экономическом и сексуальном статусе женщины в Соединённых Штатах. Чистое и высокое чувство по отношению к сексу и его важной роли в жизни человека обязательно должно развиваться». Я обратила его внимание на растущую силу «комстокизма». «Где же великие мужчины и женщины, которые могут сдержать эту удушающую силу? — спросила я. — Кроме тебя и ещё кучки людей американцы — самые ярые пуритане в мире». «Не совсем, — ответил он. — Не забывай об Англии, которая только недавно запретила прекрасную работу Хэвлока Эллиса на тему секса». Он верил в Америку, и мужчин, и женщин, которые годами боролись, страдая от клеветы и арестов, за идею свободного материнства.

Во время пребывания в Чикаго я посетила Съезд рабочих сил, который проходил в городе. Там я познакомилась со многими людьми, известными в профсоюзных и революционных кругах; среди них была миссис Люси Парсонс, вдова замученного Альберта Парсонса, которая принимала активное участие в конференции. Самой выдающейся персоной на съезде был Юджин Дебс. Высокий и худой, он выделялся из толпы товарищей больше чем просто физически; но сильнее всего меня поразило наивное незнание того, что вокруг него плетутся интриги. Некоторые делегаты, непартийные социалисты, попросили меня выступить и сказали председателю включить меня в список. Путём очевидной хитрости политикам социал-демократического блока удалось не допустить моего выхода на сцену. В завершении сессии Дебс подошёл ко мне объяснить, что произошло неприятное недоразумение, но они с товарищами дадут мне высказаться вечером.



Люси Парсонс



Юджин Дебс

Вечером ни Дебса, ни комитета не было. Публика состояла из кандидатов, которые досидели до моей очереди, и из наших товарищей. Дебс прибежал, задыхаясь, почти к самому концу. Он сказал, что старался убежать с разных заседаний, чтобы меня послушать, но его задержали. Прощу ли я его, и, может быть, мы пообедаем вместе завтра? Мне казалось, что он был сообщником в подлом заговоре против меня. В то же время я не могла увязать его честное и открытое поведение с недостойными действиями. Я согласилась. Проведя с ним какое-то время, я убедилась, что Дебс не был ни в чём виноват. Что бы ни делали политики из его партии, я была уверена, что он порядочный и благородный. Его вера в людей была искренней, а социализм в его представлении совсем не походил на государственную машину, описанную в коммунистическом манифесте Маркса. Узнав о его взглядах, я не могла не воскликнуть: «Но, мистер Дебс, вы же анархист!» «Не мистер, а товарищ, — поправил он, — называйте меня так». С чувством взяв меня за руку, он сказал, что очень близок к анархистам, что к анархизму стоит стремиться и что все социалисты должны быть анархистами. Для него социализм является просто ступенькой к конечному результату, которым является анархизм. «Я знаю и люблю Кропоткина и его работы, — сказал он. — Я восхищаюсь им и почитаю как наших убитых товарищей, которые покоятся на Вальдхейме, так и других прекрасных борцов нашего движения. Видишь, я ваш товарищ. Я с вами в нашей борьбе». Я отметила, что мы не можем надеяться на достижение свободы, увеличивая власть государства, к которой стремятся социалисты. Я настаивала на том, что политическое действие — это похоронный звон для экономической борьбы. Дебс не стал со мной спорить, согласившись, что революционный дух нужно поддерживать вопреки любым политическим целям, но он считал последние необходимым и практичным способом привлечения масс. Мы расстались хорошими друзьями. Дебс был таким добросердечным и очаровательным человеком, что я не обращала внимание на противоречивость его политических взглядов, которая тянула его в разные стороны.

На следующий день я навестила Михаэля Шваба, одного из чикагских мучеников, которых помиловал губернатор Альтгельд. Шесть лет в тюрьме Джолит подорвали его здоровье, и он попал в больницу с туберкулёзом. Поразительно наблюдать, какой выдержкой и стойкостью идеал может наполнить человека. Ослабленное тело Шваба, чахоточный румянец на щеках, глаза, горящие смертельным жаром, убедительно говорили об испытаниях, которые он перенёс во время изнурительного суда, пронёс через месяцы ожидания отсрочки приговора, за которыми последовала казнь его товарищей, а также во время длительного пребывания в тюрьме. Тем не менее Михаэль почти ни слова не говорил о себе и не выражал недовольства. Идеал был для него превыше всего, и его интересовало только то, что имело к нему отношение. Я благоговела перед мужчиной, чей непоколебимый и гордый дух не смогли сломить жестокие силы.

Моё присутствие в Чикаго предоставило возможность исполнить давнюю мечту: почтить память наших дорогих погибших товарищей, возложив венок на их могилу на кладбище Вальдхейм. Мы с Максом стояли перед памятником, воздвигнутым в память о них, молча, держась за руки. Вдохновлённая фантазия художника превратила камень в живое существо. Фигура женщины на высоком пьедестале и павший герой, поникший у её ног, выражали непокорность и протест, смешанный с сожалением и любовью. Её лицо, красивое и полное человеколюбия, было повёрнуто к миру боли и горя, одна рука указывала на умирающего бунтаря, а вторая, будто оберегая, — простиралась над его головой. В этом жесте было сильное чувство, бесконечная нежность. На мемориальной доске на обратной стороне фундамента был выгравирован отрывок из постановления Альтгельда, где перечислялись причины помилования трёх выживших анархистов.



Монумент чикагским анархистам

Уже почти стемнело, когда мы вышли с кладбища. Мои мысли улетели в прошлое: тогда я противилась воздвижению этого памятника. Я утверждала, что нашим погибшим товарищам не нужен камень, чтобы сделать их бессмертными. Сейчас я поняла, какой узколобой и нетерпимой я была и как мало я понимала силу искусства. Памятник служил воплощением идеалов, за которые умерли эти люди, наглядным символом их слов и дел.

Перед отъездом из Чикаго до меня дошла новость о смерти Роберта Райцеля. Хотя все друзья знали, что его кончина — это вопрос нескольких недель, но мы всё равно были в шоке. Моя потеря была ещё более горькой из-за близости с моим дорогим «рыцарем». Он как живой стоял передо мной — его бунтарский дух и артистичная душа. Я не могла представить его мёртвым. Особенно в последний визит к нему я в полной мере оценила его настоящее величие, высоты, до которых он мог взлететь. Мыслитель и поэт, ему было недостаточно просто складывать красивые слова, он хотел, чтобы они стали явью, чтобы они способствовали пробуждению масс на пути к новым возможностям на земле, освобождению от оков, которые для них сковало привилегированное меньшинство. Он мечтал о прекрасных вещах, о любви и свободе, о жизни и радости. Он жил и боролся за эту мечту со всей страстью своей души.

А теперь Роберт мёртв, и его прах развеян над озером. Его большое сердце не бьётся, а бунтарский дух успокоился. Жизнь продолжала своё течение, она была более несчастной без моего рыцаря, лишённая красоты и силы его письма, поэтического великолепия его

песни. Жизнь продолжалась, а с ней крепчала решительность действовать дальше.

Денвер был центром нашей активности, там действовало множество мужчин и женщин индивидуалистского и коммунистического течения анархизма. Почти все они были уроженцами Америки; некоторые могли проследить свою родословную до первых поселенцев. Лиззи и Уильям Холмс, коллеги Альберта Парсонса, его близкие друзья и окружение были остроумными, трезво мыслящими людьми, их социальная борьба в первую очередь была направлена на решение экономических вопросов, что не мешало им быть хорошо осведомлёнными в остальных направлениях работы. Лиззи и Уильям находились в центре событий борьбы за восьмичасовой рабочий день в Чикаго и писали для *Alarm* («Тревога») и других радикальных изданий. Смерть Альберта Парсонса стала для них ещё большим ударом, чем для большинства товарищей, потому что они дружили много лет. Сейчас, живя в Денвере в бедном квартале и едва зарабатывая на то, чтобы себя содержать, они оставались верными Делу, как в былые времена, когда их вера была молода, а надежды велики. Мы много времени проводили за обсуждениями движения, особенно времён 1887 года. Они в ярких красках описывали Парсонса: для него анархизм был не просто теорией будущего устройства. Он сделал его основой своего существования и дома, и в отношениях с близкими. Будучи потомком древнего рода южан, которые кичились своим происхождением, Альберт Парсонс чувствовал родство с наиболее униженными представителями человечества. Он вырос в атмосфере, где рабовладение считалось неотъемлемым правом, а авторитет государства был превыше всего. Парсонс не только отрёкся от этого, но и женился на молодой мулатке. В идее человеческого братства Альберта не было места для расовых различий, а любовь была сильнее преград, воздвигнутых людьми. Его взгляды заставили покинуть свой безопасный дом и сдаться в цепкие лапы властей Иллинойса. Стремление разделить судьбу своих товарищей было важнее всего. И тем не менее Альберт страстно любил жизнь. Его прекрасный характер проявился даже в его последние минуты. Парсонс не проклинал людей и не жаловался, он напевал свою любимую песню «Эни Лори»; её мелодия звучала в тюремной камере в день казни.

Моя поездка из Денвера в Сан-Франциско через Скалистые горы была наполнена новыми впечатлениями и ощущениями, похожими на те, что я испытывала, глядя на швейцарские горы, когда останавливалась на пару дней в Швейцарии по дороге из Вены. Вид Скалистых гор, суровых и угрожающих, произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я не могла избавиться от мысли о тщетности всех усилий человека. Всё человечество, я в том числе, казалось травинкой, такой незначительной, такой трогательно беспомощной перед лицом этих давящих гор. Они меня ужасали и одновременно захватывали своей красотой и величием. Лишь когда мы доехали до Гранд-каньона, где поезд стал медленно пробираться вдоль извилистых артерий, высеченных рукой человека, пришло облегчение и вернулась вера в собственные силы. Силы человека, проникшего в эти колоссы из камня, свидетельствовали о его творческом таланте и неистощимых ресурсах.

Впервые увидеть Калифорнию ранней весной после суточного переезда по однообразной Неваде было так же, как лицезреть волшебную страну после ночного кошмара. Я никогда не видела такой пышной и сияющей природы. Я всё ещё находилась под впечатлением, когда пейзаж сменился на менее цветущий, и поезд остановился в Окленде.

Моё пребывание в Сан-Франциско было очень интересным и запоминающимся. Там прошли мои лучшие выступления, и я познакомилась со многими свободолюбивыми и удивительными людьми. Штаб-квартирой анархистов на побережье была газета Free Society («Свободное общество»), которую редактировала и издавала семья Исаак. Это были исключительные люди — Абрам Исаак, его жена Мэри и трое их детей. Они были меннонитами, членами либеральной религиозной секты в России немецкого происхождения. В Америке Исааки сначала поселились в Портленде, штат Орегон, где попали под влияние анархистских идей. Вместе с несколькими местными товарищами, среди которых были Генри Эддис и Абнер Поуп, Исааки создали анархистскую еженедельную газету под названием Firebrand. Из-за публикации в ней поэмы Уолта Уитмана «Женщина ждёт меня» газету запретили, издателей арестовали, а Абнер Поуп попал в тюрьму за непристойное поведение. Семья Исааков начала издавать Free Society, а позже переехала в Сан-Франциско. Даже дети помогали в работе над газетой, часто просиживая по восемнадцать часов в день за письмом, набором шрифта и оформлением бандеролей. Вместе с этим они не оставляли другую пропагандистскую деятельность.

Меня особенно привлекали Исааки за последовательность, гармоничное восприятие идей, которые они отстаивали, и за их реализацию. Товарищество между родителями и полная свобода каждого члена семьи были для меня чем-то новым и удивительным. Ни в одной анархистской семье я не видела, чтобы дети наслаждались такой свободой самовыражения, не слыша ни малейшего запрета со стороны старших. Было очень забавно слышать, как Абе и Пит, мальчики шестнадцати и восемнадцати лет, призывают к ответу отца за какое-нибудь нарушение принципа или критикуют его статьи. Исаак слушал терпеливо и уважительно, даже если манера критики была по-подростковому жестокой и высокомерной. Ни разу я не видела, чтобы родители прибегли к авторитету взрослого или нажитой мудрости. Дети для них были равными; их право на несогласие, на то, чтобы жить своей жизнью и учиться, было неоспоримо.

«Если не можешь установить свободу у себя дома, — часто говорил Исаак, — как можно ожидать, что ты сможешь сделать это во всём мире?» В понимании его и жены свобода означала и равенство полов в их потребностях, физических, интеллектуальных и эмоциональных.

Исааки придерживались этого отношения и раньше в Firebrand, и теперь в Free Society. За требования равенства полов их жестоко цензурировали многие анархисты с востока и за границей. Я приветствовала обсуждение этих проблем в их газете, потому что по своему опыту знала, что равенство полов является таким же важным вопросом для человека, как наличие воды и воздуха. Для меня это была не просто теория, которая помогла мне на ранних стадиях развития обсуждать секс так же открыто, как и другие вопросы, и жить своей жизнью без оглядки на мнение других. Среди американских радикалов на востоке страны я знала многих мужчин и женщин, которые разделяли мои взгляды на этот вопрос и у которых хватало смелости практиковать свои идеи в сексуальной жизни. Но в своём ближайшем окружении я не находила поддержки моей позиции. Поэтому для меня было открытием узнать, что Исааки верили в то же, что и я, в основе их жизни были те же взгляды. Это, не считая общего анархистского идеала, и помогло наладить сильную личную связь между нами.

Несмотря на ежевечерние лекции в Сан-Франциско и ближайших городах, на массовый митинг в честь празднования Первомая, на спор с социалистом, мы находили время на частые собрания, достаточно живые, чтобы их порицали пуристы. Но мы не обращали на них внимания. Молодость и свобода насмехались над правилами и критикой, а наше окружение состояло из людей, молодых душой и телом. В компании мальчиков Исаака и другой молодёжи я чувствовала себя бабушкой — мне было двадцать девять, — но, как меня часто уверяли мои молодые поклонники, у меня был самый весёлый нрав. В нас бурлила радость жизни, а вина Калифорнии были дешёвые и бодрящие. Пропагандисту непопулярных идей нужна, часто даже больше чем другим людям, случайная легкомысленная безответственность. Как ещё ему пережить страдания и тяготы бытия? Мои друзья из Сан-Франциско умели напряжённо работать — они очень серьёзно относились к своей работе, — но они также умели любить, пить и играть.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 17 апреля 2025 03:50:29

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 17 апреля 2025 03:52:05